

Михаил Садовский  
*Пока не поздно*



Михаил Садовский

**Пока не поздно**

«Издательские решения»

**Садовский М.**

Пока не поздно / М. Садовский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900835-0

Книга прозы известного писателя Михаила Садовского «Пока не поздно» состоит из трёх произведений, не связанных сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз. Книга повествует о жизни 40—90-х годов двадцатого века — времени глобальных перемен.

ISBN 978-5-44-900835-0

© Садовский М.  
© Издательские решения

# Содержание

От автора	6
Кто ты, кто я	7
Тот самый Паша	28
Паша	28
Столяров	31
Максим Степаныч	32
Круглый стол	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Пока не поздно**

**Михаил Садовский**

© Михаил Садовский, 2017

ISBN 978-5-4490-0835-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## От автора

Уважаемые читатели!

В этой книге три совершенно разных произведения, никак не связанные сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз.

Реалии на переломе истории меняются с такой скоростью, что в течение жизни одного поколения – а это, по признанию, учёных всего два десятилетия – происходят перемены столь серьезные, что следующее поколение с трудом понимает, или вовсе не может понять, как это было до их рождения, во времена, когда их родители были молодыми. Прожитое сегодня стремительно становится историей, в ней остаются глобальные события, а детали и мотивы поступков исчезают бесследно. Удивляют фотографии, «отсталая» техника на них, странная мода, непривычные выражения лиц...

Автору кажется, что книги, написанные сегодня, тоже становятся историей, не многие из них останутся чтением нового поколения. Но любопытный вернётся к ним, чтобы понять прошлое – не то глобальное, о котором напишут в учебниках и будут трактовать его ещё, может быть, в течение многих поколений, но со временем всё меньше и меньше места останется этим прошедшим годам. Открыв же книгу несколько десятилетий назад написанную, можно будет представить себе не только глобальные перемены, но то, как люди жили и как воспринимали происходящее...

Автору кажется, что заслуга литературы в её летописности, это не специально написанная летопись, в которой, кстати, легко можно в совершенно искажённом свете показывать события и их восприятие теми, кто жил тогда и теми, кто читает по прошествии времени, а то, что неизменно останется – как ели, что надевали, на чём ездили, как говорили и о чём спорили, что волновало, что заботило, о чём мечтали, чего ждали, и что категорически не принимали, как любили и что ненавидели...

Да, автор пережил эти годы: страдал, радовался, добивался, проваливался, отчаивался и поднимался вновь, чтобы жить. Однако не надо представлять, что герой повествования – сам автор. В этой книге ни один из персонажей не списан с натуры, и в тоже время, ни один из них не является плодом фантазии или выдумки автора. Это всё реальные люди, всё в этой книге подмечено, собрано и представлено читателю на его суд, для его памяти и знания.

Благодарю вас, что вы открыли эту книгу. Люди молодые познакомятся со своим прошлым, люди, жившие в годы, о которых повествуется, могут поделиться друг с другом тем, как «было у нас» – это драгоценные дополнения и ответы на вопросы несведущих.

Если будет так – книга не оставила вас равнодушными, а это самая большая радость для автора.

Желаю вам интересного чтения.

## Кто ты, кто я (повесть)

Кто ты, зверь, стоящий на краю белого поля в поиске добычи? От него никакого запаха, ни следа на нём. Далеко голубизна неба сгущается, опускается и становится синей до черноты полоской, обрамляющей его, – это воспоминания. Их сдуло туда ветром времени, и они стали горизонтом, а позади тебя ничего – пропасть. Отступил шаг назад – и провалился навсегда, и не будет тебя в той полоске на горизонте, на той дальней окраине поля жизни. Ты стремишься в это поле за добычей, и за тобой не остаётся ни следа, а ты всё идёшь и идёшь к тому дальнему краю. Зачем? Что тебе в том пацанёнке в коротеньком пальтишке, перетянута верёвкой, и в ушанке не по размеру, слезшей на глаза? По реке идёт лёд. Вся деревня от мала до велика вытянулась на берег и смотрит с высоты на это чудо. Картины меняются каждую секунду, и невозможно удержать их в памяти. Вот огромная льдина с вдавленными в неё колеями дороги и пешнями по бокам её степенно проплывает мимо, и все мелкие осколки ледяного поля, встречающиеся ей на пути, вскакивают вдруг, вытягиваются вверх, будто по стойке смирно, и отдают честь. А она степенно и равнодушно уносит с собой дорогу – значит, хлеб, керосин, письма, фельдшера, школу – это всё на той стороне и станет доступно, лишь когда спадёт вода, паромщица Варюха снова заведёт трос на блоки на обоих берегах и заскрипит песок под лагами сдвигающегося с берега парома. Но что тебе в этом?

– Ты почему не спишь?

– Подожди!..

Почему это прошлое вдруг выплыло из неведомого, что называют памятью? Что это? Принадлежит тебе? Но ты не можешь этим неизмеримым объёмом управлять! Ты не знаешь, что в нём есть и чего нет, может быть, того, самого необходимого тебе – деталей, тех самых мелких, что определяют картину; нет запахов, или тебе не по силам их воспроизвести – и то не для всех, а только для себя самого! Сядь. Закрой глаза. Представь этот давний берег реки. Вспомни, вспомни, как пахло речной талой водой, вспомни скрип телег и запах мокрого дерева, а потом лица и песок улицы, жёлтый-жёлтый от влаги, садящейся на него по утрам, особенно у берега...

Конечно, можно рассуждать о прошлом, переставлять в нём разные слагаемые и решать, как новое уравнение, но бывает лучше о нём забыть. Переплыть через реку и не оглядываться на тот берег, с которого ушёл навсегда...

Может быть, если бы знать наперёд, какое оно будет, это прошлое, то не было бы его – нашёл бы силы оборвать время на подходе к нему... Но ведь оно в то время было будущим, а без него жить невозможно. Без прошлого – можно, без будущего – нет.

Верил, что всё преодолееся. Вот чемоданчик матери «с вещами на первое время», что стоял много лет в прихожей, ей не пригодился! Сам потом таскал в нём учебники и сидел на нём, поставленном на попа, в проходе переполненной электрички. А что сама она вдруг икнула и тихо сползла на пол вдоль ножки стола, когда вынимала дрожащими руками в тот же день, как объявили о смерти Вождя, из его дерматинового брюха конверты, сухари, огрызок карандаша и пару фиолетовых подштанников с начёсом, это разве важно кому-то? Этого навалом в прошлом... Не могил за колючкой, не потерянных лет на нарах и лесоповале, не тысяч шагов в лубянском каземате... Никем не учтённых килограммов нервов и тревог, тонн оскорбительного страха и миллионов «чур меня»... Кто это выпишет, что совершенно точно от страха по ночам в момент освобождения от него случился разрыв сердца? Это же наивно и непрофессионально, нет такой графы в анкете и такого вопроса. Они только в чьём-то прошлом, и если тебе повезло выкарабкаться, не оглядывайся и не проигрывай заново пережитое, а то оно напомнит с двойной силой. Что, станешь тешить обиды и бегать по кругу? Глупо.

Помнишь, сколько стоила смерть? Четверть буханки черняшки... За неё солдат, стороживший штабеля ящиков, отдавал снаряд 120-го калибра.

Ты же потом сам тянул жребий, кому кидать его в огонь, забыл? Петьку Смирнова в ключья... Васька без кисти остался. Тебя почему-то только оглушило и метров на двадцать кинуло, да и то в сугроб... Тебя бы первым должно было... Ты же ближе всех стоял. Что, это за собой волоочь? Сколь долго и зачем?..

И чемоданчик этот ведь тоже после Победы объявился – мать его специально купила и поставила в прихожей за занавеской. От него несло дерматином, и запах этот не выветрился... Железные угольники держали прямоугольную форму, и окантовка не давала прогибаться крышке.

После того как она вещички вынула и попала в больницу, забросили его на антресоли, тебе-то ещё далеко было до студенчества – мечтал только... Куда хотел, не взяли: блата не нашлось, а так... ну, чтоб мать не огорчать и в армию не забрали... Тогда достал его: чтоб как у других. А на новый откуда деньги?.. Угольники потемнели, конечно, и ржавинка их чуть подкрасила, а пыль давно, попервоначалу въелась в липкий свежак обивки, она отдавала неистребимой сединой, воистину подвластной только времени... Ни вода её не брала, ни ластик, ни мыльная мочалка. И сперва это смущало, как-то выталкивало в нелепость скупердяйства или стеснительность нищеты, но незаметно всё растворилось, отошло, а стало без него невмоготу пусто... И не то что привычка – рука в холодной темноте утра сама находила его и наощупь определяла, всё ли на месте: тетрадки, линейка с треснутым бегунком, таблицы Брадиса... А потом это сменилось на белый халат, стетоскоп, пару резиновых перчаток, пузырёк со спиртом для рук...

Вспомни, вспомни: ты без этого чемоданчика ни часу не мог! В автобусе между коленок зажимал и лишь на остановке хватал за железную ручку и волок над головами, прорываясь к выходу, или протискивал сперва сквозь раздвинутые прутья забора и потом сам следом за ним на каток... Это было азартно и здорово: экономил на входном и на раздевалке, да и время не терял: коньки – из него, а туда ботинки...

Когда однажды забыл его в гардеробе в институте, летел вниз по ступенькам с колотящимся сердцем, и страшно было не то, что конспекты пропали! Что-то очень родное и важное будто отторгалось от тебя, вспомни!

Он уже не вещи хранил, а время! Память времени... И зачем оно тебе было? Вспоминалось на бегу, что мать давно уговаривала, мол, поменять его надо, ну хоть портфель отцовский взять довоенный, новый почти и с двумя замками... И это всё било по щекам на поворотах лестницы и гнало быстрее вниз... Да, он стоял там под длинными пальто на полу у стенки. Ну хоть бы в нём что на продажу было... Сам-то он уже и рубля не стоил. Если кто полюбоствовал, хлопнул крышкой потом и оттолкнул ногой подальше, а тебе-то без него уже никак стало!

Ну зачем тащить это прошлое? Что в нём?

Эти восемь лет, что он простоял в прихожей, даром не прошли... Даром... Напитали его страхом и тревогой. И они тебе передались. Может, потому мать и ворчала, что негоже, мол, с чемоданом, что в этом какая-то неестественность, недоверие своему времени...

Возможно. Но ты был в дороге и теперь лишь понимал, что значит – восемь лет... Сперва в спешке невдомёк было: нельзя без него, никак нельзя... С масляными пятнами, обведёнными в задумчивости по контуру, на внутренней стороне откинутой крышки...

Может быть, ничего больше ты не хранишь в памяти с такими деталями, даже стихи, заученные наизусть, не столь подробны своими строчками! Щербинка в правом углу, нарушенные выдавленные линии на поверхности неограниченной шахматной выделки – сколько раз ты считал их в чёт-нечёт, сбудется – не сбудется, и каждый раз получалось по-другому.

То ли глаз уставал и сбивался, то ли и впрямь они вдруг сливались и спаривались, чувствуя причину и тоже волнуясь...

И чего там только не было: и Галчинский, и размытый снимок рва в Катыни, и «Жизнь и судьба», и Вислава Шимборска, и Терц с Даниэлем, и первые всплески Окуджавы...

Однажды, когда он уже совсем измочалился, продавилась крышка и покосились бока, ты освободил его наконец, тоже стоя у того же стола, как мать в пятьдесят третьем, и решил, что пора расставаться... Поставил его на то же место в прихожей, как бы давая ему возможность попроситься, и время побежало своим чередом.

Конечно, снег новых забот одолевал, и скользили ноги, всё волокно и волокно против воли, как в половодье на плотике из трёх брёвен, чтоб спастись только... А когда не стало матери, пошло на перекося пространство, и объявился он на тех же антресолях. Как он там оказался? Ты вспомни, вспомни, это ж недавно было! Кто, кроме тебя, мог его туда засунуть? Да и то потихоньку, тайком, в час, когда никого не было дома... Не то пошла бы грызня за пространство. А ты не помнишь?!

Не ври хоть себе... Можно много забыть. Хочется. Зачем тебе прошлое? Ну прожил – и слава Богу. Но он там неспроста оказался – не надо помнить... Зачем тащить его за собой всю жизнь и снова просыпаться от его присутствия, потому что свято место пусто не бывает, и теперь в нём хранятся ночные всхлипы матери спросонья, и потом её осторожные шаги к окну, и взгляды вниз сквозь нераздвижную занавеску, и кошачья поступь к двери с недоверием и чутко повёрнутым ухом, чтобы уловить хоть что-то с лестницы: не за ней ли пришли её партийцы-единоверцы?

Это прошлое не удалось тебе выгрузить из него, а не пустой – тебе не по силам поднять и вынести, чтобы тихонько поставить у мусорного бачка и скорее, не оборачиваясь, отойти в сторону, а потом за угол к подъезду...

И сколько бы ты ни размышлял, он всё равно будет с тобой. Даже если ты решишься на дерзость, он снова возникнет, материализуется из мысли, из тревоги «где он?», из незабываемого запаха свежего дерматина, отдающего летней помойкой, из ритмов сложивших его поверхность линий, из ощущения заклёпок на зажавших его бока ляжках, из образа широко-ротового коричневого бегемота с плоской головой, из ночного пробуждения от пустоты на кровати в комнате, где больше нет матери, из скрипа, похожего на тот, что извлекала петля в его железной ручке на морозной улице, когда ты спешил, и он мотался, из той пустоты, что возникла на его месте и так никогда и не заместила ни портфелем, ни сумками на плечевом ремне, ни кейсами, ни дипломатами, ни «стюардессами» на колёсиках...

Он был одушевлён. А живое оставляет самый непреходящий след даже тем, что умирает...

Послушай, зачем он тебе? Даже теперь, под сомнительное покачивание головы жены и ехидные словечки взрослеющих детей? Но к нему все привыкли, как привыкают к привитому словами прошлому, особенно тому, которое их не коснулось, не было тропкой прожитого и не цепляет репейником обид и потерь...

В нём лежат плоскогубцы, отвёртки, гвозди, кусок проволоки для жучка и сгоревший паяльник... Он и стоит там же, в прихожей, только занавеску сменили скользящие плоскости дверец. И, как прежде, редко кто о нём вспоминает...

Только когда ты остаёшься один и непонятная тоска заставляет тебя мотаться по комнате, вдруг оказывается он у тебя на коленях, и ты долго смотришь на его обшарпанные бока, пузырящуюся крышку, одну беспомощно повисшую застёжку, отшлифованную ручку, и снова играешь в чёт-нечёт на его поверхности, и долго так сидишь, прижимая к животу двумя руками и ощущая каждой клеточкой прошлое, которое пропитало его и никогда, что бы ты ни решил, тебя ни за что не оставит...

И какая фантастическая сила в нём хранилась – она могла притягивать то, что было до его появления, не только в твоей комнате, в магазине, в убогой артели, где его мастерили без души и сердца, а ради заработка усталые исхудавшие люди, сидевшие в полуподвале с каменным полом и заляпанным окном под потолком, через которое проникал не свет, а только воздух улицы, отравленный машинами. Как это удавалось ему: вернуть тебя в то самое детство, которое только так называлось, а на самом деле в нём было всё по-взрослому, по-настоящему, без игры, а всерьёз, чтобы жить и выжить, чтобы остаться, а не уплыть в никуда с ледоходом или следующей холодной и злой зимой.

Эти телеги, ползущие в гору от пристани, когда река ещё была вспухшей и не угомони-лась, люди, сидевшие на них по краям, свесив ноги, и другие, лежавшие – у которых у же не было сил сидеть, и те, что шли обок телег, держась за них одной рукой, потому что сил у них не было даже со скоростью улитки самим одолеть эту гору. Лошади фыркали, может, от непривычного неприятного запаха из телег от этих полутрупов в истлевшей вонючей одежде.

Таких экипажей было три. И в последнем вдруг на тебя посмотрели из-под какого-то капора такие глаза... ты никогда таких не видел, но мальчишечья память сразу определила – она здесь случайно, она убежала из книжки – это Мальвина с голубыми волосами и глазами, и дыхание твоё стало прерывистым, и глаза не могли посмотреть ни на что другое, и может быть, первый раз в жизни ты узнал, что у тебя есть внутри что-то такое, похожее на испуганного птенца, которого ты зажал в руке, а он пытается освободиться и то трепыхается, то замирает, собираясь с силами, чтоб попробовать ещё раз вырваться из плена.

Девочку звали Нина. Если бы сегодня тебя попросили нарисовать блокаду – её символ – одним росчерком, ты бы, если бы умел рисовать, бросил на лист бумаги огромные глаза, впалые щёки, казалось, соединившиеся внутри рта, и шейку – как у не опушившегося цыплёнка, в вертикальных морщинках и складках.

Ты шёл рядом с телегой от самой пристани и смотрел на девочку и не решался сказать ни слова. Потом, совершенно не раздумывая, запустил руку в карман и вытянул оттуда свои сокровища: обломок чёрного вара с налипшими на его блестящие грани соринками. Его можно было жевать и жевать, и сладко глотать копившуюся слюну, а ещё кусок поряточно обгрызенного жмыха, который ты оставил «на потом», потому что до ужина больше нечем было подкрепиться... ты уже протягивал это богатство Мальвине, но чья-то рука остановила твою – ты же не знал, что это смерть для девочки! Ты знал, что можно умереть от голода, но от еды?! Как это так?..

И она не понимала мутившимся от голода сознанием, что хочет этот мальчишка, идущий рядом с телегой и глядящий на неё неотрывно, даже когда он вдруг чуть не падал, потому что нога попадала в ямку, рытвину на дороге или на склон канавки, бегущей сверху вниз и промытой ещё прошлогодними дождями...

В то время ты ещё не мог никак сформулировать, что произошло, и не было у тебя тех слов, что пришли позже, а было только «дружить». Но память так уверенно, убеждённо скрывала провалы времени и сводила вместе не столько события, но чувства, что теперь, много позже, когда она подхватила тебя, и перемешала, переместила внутри дни, недели, месяцы, проведённые рядом с Ниночкой, ты не мог ответить на простой вопрос, а может, просто боялся сформулировать ответ и, услышав его, передумать или понять, что не всякому безумию есть оправдание. Если это была любовь, то пусть бы она так и осталась ангельски чистой и вечной. Вечной, потому что её бы хватило на весь твой век, длинный или короткий – ты не знал, но на весь век. И даже если ты встретишь потом кого-то (ну конечно встретишь), эта девочка никогда не отступит и не потускнеет в памяти, и ты будешь, как уже привык, искать её взглядом в толпе на улице, в зале кинотеатра или на концерте, оглядывая сверху ряды партера, в газетах и всяких хрониках, на афишах, в книгах на обложках, в сводках спортивных соревнований и рекордов... при том, что это происходило уже помимо твоей воли, интуитивно, это стало

необходимым и незаметным, как дышать, жмуриться от яркого света... Мало ли где могла появиться взрослая Ниночка.

И вдруг необъяснимо в июньский первый день отпуска ты вышел из дома, доехал до конечной станции метро, а дальше зашагал по обочине шоссе, пересёк по мосту реку и уже за будкой ГАИ остановился, повернулся на сто восемьдесят градусов, то есть лицом к городу, из которого только что вышел, и поднял руку, чтобы остановить машину.

Первому же водителю грузовика, что остановился и согласился тебя подбросить по дороге, а это выходило примерно треть пути, ты не знал, как объяснить, куда и что тебя гонит. Он коротко отреагировал, оглядев тебя:

– Бывает! Не дрейфь! – поддержал он тебя – помнишь (!) – он подмигнул тебе, как бы уже войдя в твою тайну, зачем-то быстро снял кепку и снова накиннул её обратно на голову, натянув козырёк пониже на лоб. – Я сам такой! Счастливо!

В гостинице на Лиговке табличка отсекала любого, кто имел напрасную надежду провести ночь в постели. В углу под пальмой круглые сутки была густая тень и под ней до одиннадцати, «часа проверки номеров на наличие гостей», можно было спокойно подремать. На расстоянии десяти шагов проходили люди, слышались их приглушённые голоса, шарканье ног, сожалеющие вздохи, стук чемодана, поставленного на пол, и незлобное шипение входных дверей.

Сквозь полудрёму ты почувствовал, что кто-то стоит рядом, и незаметно посмотрел из-под опущенных век – видно было только ноги, обутые в обыкновенный «Скорород», и манжеты серых брюк, опиравшихся на шнуровку на подъёме.

– Всё сидите? – человек был совершенно квадратного формата.

– Мне уже пора? – отреагировал ты, думая, что это портье.

– Вы ждёте кого-то? – человек чуть склонился набок, чтобы лучше рассмотреть твоё лицо.

– Нет, – надо было уйти, не дожидаясь, пока тебя вытурят, а то завтра не пустят. Человек не предпринимал ничего, а только разглядывал тебя.

– Верно! – надо вовремя уйти!

– А вы что – умеете читать мысли?

– Могу и это!

– Понял! – ты уже стал подниматься.

– Что, не верите? – в голосе слышалась неоскорбительная усмешка. Он протянул руку ладонью кверху. – А паспорт имеется?

«Всё же проверка!» – подумал ты и только фыркнул в ответ.

– Нет, не проверка – он, видимо, умел читать мысли... – Паспорт! – он приказно поставил ладонь протянутой руки, потом положил твой паспорт во внутренний карман пиджака, той же ладонью остановил твоё намерение подняться с места и направился к стойке. Через двадцать минут он вернулся и жестом пригласил следовать за ним...

На красной ковровой дорожке второго этажа ты сказал ему в спину:

– У меня нет денег на номер! Извините, вы зря беспокоились, – но...

Человек не обернулся и опять ладонью будто подгрёб идущего сзади.

– Будешь ночевать со мной в номере. Диван устроит?

– Вы что, волшебник или партийный босс?

– Что-то вроде этого, – сказал он, пропуская тебя в дверь, и представился уже в прихожей: – Анатолий Маркович... Гузевич... а по поводу босс – интербригадовец. Нас мало уже осталось, и поэтому, очевидно, берегут. Как реликвии. Про интербригаду слышал?

– Не очень...

– Значит, не слышал. Не мудрено... Нас мало, действительно. Кто погиб, кого погубили. Сейчас пойдём ужинать, а разговоры потом... Ночью, если не заснёшь... я не сплю ночами... слушаю тишину чутко... привычка...

Ты просто прежде таких людей не встречал, и поэтому всё казалось странным: эта неожиданная опека, какая-то давняя химера, которая не потеряла силу с годами, и доверие без распросов, и распросы ночами не из любопытства...

– Читал «По ком звонит колокол»? Ну, да не издавали... но уже написано и живёт на свете... И переведут обязательно, и издадут... Есть на свете вещи, которые нельзя не сделать...

Почему-то легко и просто было рассказывать этому незнакомому, даже проще, чем другу, и хотелось рассказывать, даже подробнее, чем самому себе, присоединяя к событиям ещё и своё ощущение происходившего, и след, оставшийся, как нить Ариадны, чтобы размотать клубок, опутавший душу.

– Так тебе всё равно куда, – говорил Анатолий Маркович, – в любую сторону твоей души... Целенаправленно искать – бесполезно – просто ходи по улицам и глазей, если узнаешь... Столько лет прошло! Узнаешь?... Может быть... Но, по-моему, не найдёшь... Если только роман об этом напишешь или повесть, издашь в журнале, так, чтоб из рук рвали, а за славой и шансы возрастают, пока на вершине будешь... но это недолго... не найдёшь ты её! Это только, если судьба усмехнётся и пошутит над тобой...

На Заневском была провинция – не Ленинград, может, не Тула или уже растущие Московские Черёмушки – пятиэтажки стояли в ряд в десяти минутах от троллейбуса, поднявшись тополя засыпали промежуток между домами рано пожелтевшими листьями, и неизвестно откуда берущиеся в таком количестве старухи вместо отсутствующих завалинок, к которым они привыкли, толковали на скамьях без спинок с двух сторон от асфальтированной дорожки к двери парадного... Они замолкали, когда кто-то проходил мимо, и часто появление чужого было началом нового обсуждения...

Куда ты шёл по этом у белому полю без единого следа? Что сулил тебе ещё один вечер в переполненной пустыне города, который ты не знал, и который не ждал тебя?

Эти двое, к которым вы пришли, состарились до срока. Война сделала своё дело, не пощадила их... у него почти совсем отняла зрение в окопах, а у неё в осаждённом городе двух маленьких внуков в сорок втором, но осталось им то, с чего начиналась их общая тропа. Теперь они медленно двигались, называли друг друга уменьшительными именами и ничему не позволяли огорчать их совместное пребывание на этом свете. В холодильнике обнаружилась картонная пористая сетка с двумя коричневыми яйцами, половина треугольного пакета кефира и пачка маргарина, а в пожелтевшем шкафчике над плитой – полпакета муки и свёрнутый из толстой обёрточной бумаги кулёк с тёмными макаронами, которые легко надевались на мизинец...

– Останешься здесь, – утвердительно сказал Анатолий Маркович и опять жестом остановил грозившее вырваться твоё возражение. – На дежурство, – он вытянул из внутреннего кармана бумажник толстой свиной кожи с тиснением с двух боков, вынул оттуда, посплюнув пальцы, три десятки и, не разжимая зубов, тихо процедил: – Сам знаешь, что тут нужно! Рецепты у вас есть? – громко спросил он от входной двери и выпустил тебя...

Почему эти люди так запали тебе в душу? Потому что Наденька утром подходила к твоей раскладушке и стояла тихо, не шевелясь, пока ты не открывал глаза?

– Каша простынет... – тихо и ласково произносила она чуть слышно, – и Митеньке пора работать! – а старичок сидел уже, готовый нажимать ручку пресса, прикрученного к краю кухонного стола и выплевывавшего после каждого нажатия проволочные скобки для брошюровки книг...

Тогда ты быстро умывался, глотал невкусную, липкую, без соли и сахара кашу и сам брался за ручку пресса, отменяя все возражения... ты говорил:

– Мы эту норму сейчас!.. – и с азартной скоростью лязгал ручкой: вверх – вниз, вверх – вниз!

Скобочки грудились на столе горкой, порой сползая с неё на пол от обилия. Тогда ты прекращал работу, становился на колени и сгребал их на полу в кучку торцом ладони, а потом собирал щепотками и ссыпал на стол поближе к Наденьке, которая аккуратно складывала их в коробочки.

– Так мы премию заработаем! – радостно-тихо удивлялась она. – Перевыполним план, и премию дадут!

Ты помнишь это? И до конца их дней потом ты посылал им переводы каждый месяц, пока однажды деньги не вернулись обратно, потому что Наденьки и Митеньки не стало в один день – их убили отморозки в расцвете великой перестройки, чтобы завладеть их двухкомнатной хрущобой на Заневском в городе-герое Ленинграде. Убили после того, как эти доверчивые старички подписали какую-то бумагу, по которой им обещали обихаживать их старость по-царски до конца дней в обмен на дарственную жилплощади новому благодетелю... после кончины.

Ты уже не искал сам своего ангела, своего одуванца, свою воображаемую и существующую где-то рядом на планете любимую. Ты доверил судьбе эту неминуемую встречу, о которой – не заметил как – привычно думал каждую минуту...

Так твоя нетронутая десятка, с которой ты покинул родной город, и лежала в пистончике брюк, но ты решил теперь не тратить её ни за что – она стала твоим талисманом. Ты не хотел превратить её в миллионы, положив, как основу нового дела.

Можно верить в судьбу, можно не полагаться на неё – для жизни это значения не имеет. Она идёт, течёт, катится, несётся бешено по равнине, скачет по ухабам, сваливается в пропасть и возносится на вершины – под неё можно подложить любые предсказания и толкования, можно даже заранее, а потом ловко подогнать и подтвердить ничем не оправданными совпадениями, ибо совпадений никаких и не было! Всё очень просто – ретушью пользовались ещё древние, а при нагнетающихся технологиях такие подмены и фальсификации – задачка для школьника. Многие уже изнасиловали Нострадамуса, потом появился некий Глоба с надутыми щеками, который успешно врёт, манипулируя не только людскими доверчивыми и необразованными душами, но, если его послушать, общается с планетами и чуть ли не передвигает их на орбитах и сдвигает эти орбиты...

Наплевать судьбе на всякую «глобу», как солнцу на лужу на дороге, – оно скользит, не замечая её, к своему естественному ежедневному закату...

И этот орденосно-иконостасный человек появился на твоей дороге так, что ни пройти, ни обойти его не было никакой возможности. Он вырос в небе и обитал там несколько десятилетий, представляя события на земле только с точки зрения бомбить или охранять. Взлёт или посадка... несколько сотен раз в воздухе за четыре года над смертью и против неё. И тут вдруг неожиданно упал с неба прямо в твою судьбу!

Он был очень похож на Гузевича – такой же квадратный человек, только в форме, китель которой не сгибался и не давал сесть, он был негибок из-за невероятного обилия наград, как кованые рыцарские доспехи. И хотя верхние медали и ордена напозали на нижеприкреплённые, а те в свою очередь на ещё более низко расположенный ряд, уже при втором наложении панцирь не гнулся, гремел, скрипел, сверкал, отражал солнце, лампы, люстры, огоньки сигарет, уличные фонари на столбах, фары машин и даже их стоп-сигналы, а также отдалённые огоньки, мелькавшие за окном электрички.

Время было тревожное, вольное, все закричали о свободе, но мало кто понимал, что это такое. Во всяком случае, подвыпивший оратор в вагоне обязательно хотел познакомить

всех со своим пониманием вопроса о свободе, который незаметно национализировался, то есть перешёл на «свои – не свои», и оказалось, что во всём виноваты проклятые сионисты, которые опять спаивают честный русский народ, и тут оратору для примера приглянулся пожилой человек с седой шевелюрой и миндалевидными глазами, наполненными вековой восточной печалью и неземным мечтанием. Трудно сказать, принадлежал ли он к тому разбредшемуся по свету стаду, которое сионисты хотели собрать теперь, наконец, в одном месте, но для выступавшего это было не столь важно. Он сам подогревал себя своими убедительными доводами, что Россия наконец воспрянет, потому что очистится от такой заразы, как такие вот...

В этот момент высокой речи, полковник, сидевший через две скамейки за спиной оратора, встал, невольно звякнув «иконостасом», аккуратно снял с головы фуражку с голубым околышем, водрузил её на сетку для сумок над окном, пригладил чуть взлохматившиеся полуседые волосы и медленно стал пробираться по проходу к распалившемуся герою. Большинство сидевших в вагоне, до сих пор опустив глаза долу, чтобы не встретиться взглядом с оратором, каким-то образом почувствовали, что сейчас что-то случится, – то ли их привлёк звон «иконостаса», то ли какие-то флюиды (что скорее всего, как потом мне стало ясно) исходили от медленно продвигавшегося полубоком человека, но все теперь открыто смотрели на него. Он подошёл к трибуну, крепко ухватил его за предплечье – и стало видно, как несоразмерен росту его громадный кулак, – вытянул замолчавшего и косо глядевшего на клещи на своем плече говоруна в проход и повёл его, упирающегося и пытающегося что-то сказать, к раздвигающимся дверям в конце вагона. Там он приостановился, резким толчком развернул полубоком к себе свободолюбца и тихо сквозь зубы процедил: «А теперь молись, чтобы скоро была остановка, а то я тебя в свободный полёт выпущу!» – и с этими словами вытолкнул его в тамбур, так и не отпуская зажатое, как тисками, предплечье. Даже сквозь перестук колёс было слышно каждое слово, и каждому понятно было, что они не для угрозы, а для действия.

Так началось ваше знакомство и продолжилось на платформе станции, на которой вы оба вышли. Он – потому что именно туда и ехал, ты – потому что совершенно бессознательно последовал за ним, даже не пытаясь противиться этому возникшему внезапно желанию.

Испания опять была в твоей судьбе. Оказалось, что полковник знал Гузевича, потому что сам был в интербригаде и тогда летал на «ишачках» и уже познакомился с «мессерами».

Странный человек был этот полковник, только недавно вышедший в отставку и плохо представлявший себе очень многие стороны простой бытовой жизни.

– Я за Советскую власть, – вещал он во весь голос в самом центре Москвы у Телеграфа, и окружающие удивлённо оборачивались на это откровение. В тот момент это было уже вовсе не актуально, даже как-то вызывающе аполитично, не согласно моменту. – Но только без большевиков! – громогласно продолжал он, остановившись и упёршись в тебя взглядом, который выдержать было непросто!

Уже не гремел его «иконостас», его заменили колодки в полгруды, но всё равно на кителе было достаточно сверкающего металла: Звезда Героя, Гвардейский знак, крупные «чужие» ордена других держав и значки, не из тех, которые собирают коллекционеры, а такие, которые зарабатывают потом и порой кровью – за парашютные прыжки, донорскую кровь, ранения, окончания вузов и академий.

– Я всю жизнь в казарме... знаешь, с 14 лет с клуба ОСОАВИАХИМа. Он далеко от дома был, а я, как начал к самолёту, а сперва ещё к планеру, привыкать, там и спал, и ел, и школу прогуливал, а мне справки давали... дома-то что? Мать на заводе, отец на магаданской целине без права свиданий и переписки, а я на улице добрым человеком спасённый от воровства и буйства и к небу приспособленный... ну, а потом всё в казарме и в казарме. Год за годом. Я очень люблю казарму: тепло, чисто, сытно, обмундирование, постель, боезапас, оружие, сухой паёк, приказ, взлёт-посадка, там враги, тут свои, подстрелят – полчат, приказ выполнишь – поощрят... Я ведь заново учу всё: где хлеб купить, и сколько булка стоит... у меня ни дома, ни семьи,

ни гардероба, ни костюма... всё в военторге... по талону... или в каптёрке у старшины, и кальсоны, и запчасти к МиГу – всё казённое... да и я казённый... Но! Поднялся в небо и... говори с Богом! Я партийный... но у меня всю жизнь свой Бог... а он может быть только в небе... и я там! И Родина – вот она: взлетел – и вся под моим крылом, я её храню! У меня своя свобода...

– А ещё нас мало осталось! – эти слова Анатолия Марковича зазвучали дуэтом со словами Полковника. Они отдавались как эхо: – Нас мало. Кто погиб, кого погубили! – и в этом не слышалось безысходности – иное: так было. Ты молодой, а так было. Почему? Ну, это историкам и говорунам не на один век работы. Эти высосут и чего не было, а они диссертации напишут, лекции начитают и перевернут всё с ног на голову, а потом время другое придёт, и опять перевернут всё, как прикажут. У них тоже казарма, только для души, а как жить в такой?

С появлением Полковника что-то стало меняться в твоей жизни. Сначала ты не заметил этого и понял значительно позже. Оказывается, главное могло совершенно спокойно отойти назад, а то, что просто хранилось в памяти и не тяготило, вдруг требовало всего внимания, напряжения и немедленных действий. Вообще Полковник был необычным человеком, по крайней мере, для тебя. Он и правда туго вдвигался в бытовую среду, именно вдвигался, вдавливался, как кулак мясщего тесто для хлеба в большой миске. Он непрерывно увязал, старался выбраться и тянул за собой какие-то налипшие проблемы. То ли для души, то ли с расчётом стал вдруг писать, да не как дневник, а документально, тщательно сообщая событиям даты, фамилии, мотивации, карты, непонятно как добытые данные, и вскоре он решил, что надо ему выходить на широкую аудиторию. Ему после жизни в небе всё земное казалось слишком неподвижным, мелким и преходящим, а прошлое никак не отпускало, и он видел его с высоты своего лётного эшелона.

Первая схватка на земле произошла с разговором о Цандере. Это получилась повесть. Наверное, коряво написанная неумелой рукой, но такой жёсткой и твёрдой, что редакторы споткнулись и не знали, как быть... Стиль можно было подправить, в конце концов, предложить автору сделать литературную обработку и найти ему хорошего покладистого партнёра, но проблема возникла, когда оказалось, что Цандер действительно первый, и все события документальные, и невозможно ни поменять фамилию, но обкатать и сделать «подходящими» все шаги и свершившиеся до появления на бумаге факты.

Вот тут-то Полковник и «возник». Он буквально клокотал! То ворчал что-то себе под нос, то вдруг громогласно объявлял вслух, что поднял бы одну эскадрилью и так «е...л по этим», что не знали бы, кого хоронить! Он всё внутри себя решал с армейской точки зрения и при том уже не чувствовал никого над собой, наоборот, как опытный пилот, ощущал малейшее движение атмосферы, и чувство опасности у него было настолько острое и точное, что сразу возникала необходимость или ликвидировать эту опасность, или уйти от неё, обескуражить врага и выполнить задачу!..

И он, конечно, добился своего очень скоро... ведь в стране было целых пятнадцать республик, и зачастую цепкая лапа центра не успевала дотянуться до происходящего на периферии.

Дальше – больше. Первая удача окрылила его, буквально окрылила. Он решил написать правду о генерале, с которым воевал в Испании, – прошлое было так близко, так кровоточило, так требовало, чтобы его уложили в правду, как усопшего в родную мать-планету.

Расстрел легендарного героя-лётчика, дважды Героя генерала Дугласа не давал ему покоя! Дважды Героя, дважды обезноженного, ходившего на протезах и летавшего безукоризненно, и жившего праведно и героически... Да, уже подписали бумаги о его безвинной смерти от своих! Не в небе в схватке с фашистами, с будущим противником – немцами, возомнившими, что они лучше летают... лучше, потому что у них тогда машины были быстрее и маневреннее, но не лучше! Потому что и на своих «ишачках» били их и жгли и обещали им «хорошую жизнь» в будущей войне, а что она будет, никто не сомневался.

– Без последней главы! Ты слышал?! Без последней главы! Да я их, – и его здоровенный кулак величиной с полголовы так шарахал по первой попавшейся близлежащей, стоящей, сверкавшей поверхности, что невольно отскакивал в сторону.

– Не нравится им правду слушать! Эти волки пришли за ним прямо в госпиталь, в палату... и он всё понял... эти дебилы-мордovorоты! Помощь предложили – повезти его на каляске, а он натянул протезы на кровоточащие культы, вздёрнулся на костыли и пошёл в форме, во френче с двумя звёздами... они поверить не могли, остолбенели, и он имскомандовал следовать за ним!!! А было это... Седьмого ноября, 1941-го! Седьмого ноября 1941-го, когда начинался парад на Красной площади! Эстеты были на Лубянке! Или Сам придумал такое – без него кто бы решился тронуть самого легендарного генерала Дугласа?!

И что? Чтобы полковник отвернул в лобовой атаке?! Никогда! В Советском Союзе было не только пятнадцать республик, но ещё много автономных округов и автономных областей, и было место, где, очевидно, жили люди, которые переболели свой страх, переболели, растоптали его и возвысились над ним! Очень скоро он покрутил перед твоим носом тоненькой книжечкой со своим портретом на обложке и непонятной вязью буковок. И только на последней странице обложки книги, которая читалась справа налево, ты узнал, что это Биробиджанское издательство в Еврейской автономной области, и книжка вышла в переводе! Но вышла!

Вот когда сдвинулись пласты твоего знания и твоей веры, всё перевернулось, и добрый дедушка Ленин, в которого ты так верил, и думал, как многие, что поживи он ещё чуть-чуть – и всё бы было по-другому, он оказался палачом, он, он... Но Полковник о нём ничего не говорил. Может быть, считал персону недостойной внимания. А может, кто знает, мечтал поднять эскадрилью и так махнуть по его гробнице, чтобы осколками засыпало прошлое, как снег покрывал брусчатку, по которой он на своём «роллс-ройсе» ездил в царские покои.

Расспрашивать Полковника было бесполезно – он ничего не рассказывал ни о том, как летал, ни о том, как воевал, ни о том, как жил.

– Сволочи! – ворчал он на ходу, повинувшись своим мыслям, и вдруг останавливался и провозглашал уже привычно, тряся кулаком, отчего звенел «иконостас», и, казалось, содрогался тротуар: – Я за Советскую власть, но без большевиков! – и он так крутил головой из стороны в сторону, что фуражка опускала козырёк низко на лоб и начинала скользить на потной голове.

– Что ты портки протираешь в своей поликлинике. Брось ты это дело, давай будем писать – у тебя это хорошо получится! Сколько великих писателей из врачей получилось! Чехов, Вересаев... а Булгаков... и его всего издадут, вот посмотришь... Да не хоронись, а выходи на люди! Думаешь, у нас нет смелых? А если все молчать будут, зачем мы воевали? Ну, землю свою защитили – ладно! Помнишь, Наполеона разбили, в Париж пошли Европу освобождать, а что вышло?! Вот попомни... и сейчас так будет – опять народ свободы потребует. Он спит долго, народ русский, а потом как е...т, и помяни меня – хуже ещё станет! После каждой революции хуже и хуже, пока, наконец, не взорвётся всё вообще на ...!

Не веришь? Ты молодой – это большое преимущество для истории... для твоей жизни – не знаю, а для истории! Она всегда в топку молодых кидает и дороги ими мостит... запомни!

Однажды полковник грустно сказал: «Жить мне негде. Понимаешь, с женщинами я не умею... а их две у меня оказалось... сёстры... стар я для таких выкрутасов... Вот теперь буквально на улице и ночевать негде... Поеду в Прибалтику – там меня помнят. Я их небо освобождал а потом сторожил уже после Победы, высоко летал и высоко сидел...».

Два этих человека незаметно вошли в твою жизнь, вытесняя многие привычки и меняя понятия. Они ничего для этого не предпринимали, более того, вы не так часто виделись, и порой очень коротко, чтобы вести длинные беседы или произносить для твоего воспитания нравоучительные речи. Впрочем, они не любили и не умели этого, а о своей жизни рассказывали скупой и никогда не приводили её в пример – «вот я, когда был...» – нет, никогда ты не слышал такого...

И тогда вдруг, действительно неожиданно для самого себя, ты спросил, заглянув в свои тайники души: «А я бы так сумел?». И ответа не оказалось! Вот эта мучительная пустота должна была быть заполнена. Ты не мог теперь шага сделать, чтобы не вспомнить об этом, чтобы в любой затруднительной ситуации не спросить себя: «А они бы как поступили?». Эти двадцать с небольшим лет, которые вас разделили, были так трудно одолеваемы во всех возникающих вопросах. Ответы были необходимы. Пусть горькие и обидные для тебя, но молчание и сомнение были ещё хуже...

Теперь это стало новой и главной привычкой... когда-то в детстве было нечто похожее – такой разговор с самим собой, ты не мог точно обозначить – когда? Может быть, когда хотел стать таким, как Чкалов, – все мальчишки тогда бредили героями-лётчиками – или сразу после войны таким, как Хомич, легендарный вратарь футбольной команды «Динамо». И ты начал заниматься своим телом – бегать, делать зарядку, подтягиваться, проверять перед зеркалом, как выглядят бицепсы... Какие бицепсы? Мама называла твои руки – «палки», не было на них никаких заметных бугорков даже – всё ровно, как палка, действительно, только локтевой сустав торчал на этом коротком пути от кисти до плеча...

Потом тебе попала в руки замечательная книга «Поэма о камне» академика Ферсмана, и геология перекрыла все увлечения и мечты – вот так же пойти с экспедицией в горы, в Сибирь, в тайгу, искать минералы, разгадывать тайны земли и сделать открытие, которое будет во славу Родины... Романтика ещё не покинула мальчика, хотя претерпел он сверх меры для своего возраста...

И опять с появлением в твоей жизни этих людей всё менялось в тебе без всяких усилий и тяготы, ты с удивлением наблюдал за этими переменами, как если бы был посторонним. Ты наблюдал, сравнивал и задавал себе всё время один вопрос: «А как бы я поступил и смог бы, как они?». И чем больше ты узнавал этих людей, чем глубже, ближе становилось твоё знакомство с ними, тем больше сомнений набиралось в душе. Тем чаще ты отвечал себе: «Нет!». Они тяготили и мешали воспринимать действительность, которая перед тобой, и ставила непростые задачки, и тогда ты думал: а как бы они поступили, что бы они сказали, сделали? И не всегда ты мог однозначно ответить на эти запросы.

Потом сравнение поблекло, отступило, незаметно и безболезненно прошло, а потом вернулось...

Когда заболела мама и ей пришлось оставить работу – жизнь будто снова перевернулась. Все довоенные страхи, ночные вслушивания в редкие звуки моторов проезжающих автомобилей, хлопающие двери машин и подъездов, поздние голоса на лестнице и невозможность заснуть до утра – всё это описано тысячи и десятки тысяч раз. Если бы стали рассказывать все, пережившие это, не осталось бы ни одного человека во всей стране, кто не приложился бы к перу и бумаге. Потом осаждённая Москва, вынужденная, из-за сына, эвакуация, бромбёжка по дороге и долгий путь на восток без средств и какой бы то ни было возможности прокормиться... заброшенная в глухомань вдалеке от железной дороги станция и сообщение только по реке всего семь месяцев в году, неквалифицированная, непривычная для гуманитария тяжёлая работа на лесоповале и в поле... Она стойко держалась... но как обычно бывает: расплата за всё пришла, когда после Победы и возвращения напряжение спало. Болезни будто ждали, одна за другой явились и почти без перерыва началась новая борьба за жизнь. Усталость подталкивала к безразличию – пусть будет всё как будет. Но рядом был солдат, и этот опыт прошедшего войну рядовым в пехоте и выжившего не мог позволить другу отступить и наплевать на свою жизнь. Самое трудное было убедить её в этом, потому что, если ты сам опускаешь руки, никто тебе помочь не сможет, если ты сожмёшь зубы и не будешь ползти «через не могу», никогда не доберёшься до безопасной воронки, если ты не будешь верить, что должен пройти это минное поле, твоё невероятное шестое чувство перестанет тебе подсказывать, куда ставить ногу, и глаза не увидят приметы страшной законсервированной смерти, если ты хоть на секунду

перестанешь верить в себя, в тебя никто не поверит... это равнодушие и страх распространяются, и окутывают, и выдают тебя, как запах, смертельный запах, и он обязательно наведёт на тебя смерть.

Солдат знал: если у тебя нет тыла, если ты не прикрыт товарищем сзади, грош цена всем твоим стараниям. Один в поле воин, но с предрешённым концом! Если у тебя есть тыл – это уж совсем другое дело, и сил твоих и шансов выжить – вдвое, втрое, вдесятеро больше...

Судьба вела тебя. Неужели в столице не было врача, который мог бы разобраться в причине душевной боли, терзавшей твою мать? Но ты предпочёл ухватиться за совет, что в Северной Пальмире есть тот единственный на всю страну, кто поможет.

Когда вы вдвоём вошли в кабинет, и взгляды глаза в глаза столкнулись со взглядом сидящей за столом женщины, случилось нечто неожиданное – сила этой встречи в пространстве была такова, что произошла мгновенная вспышка памяти, взрыв, разодравший время, и ты увидел со стороны, как в видеоискателе магической камеры, тот самый первый день: берег, круто поднимающийся от реки, телеги, ползущие от пристани, сидящих на них детей-скелетов, иссохшие трупы, держащиеся за края телег по бокам и еле переставляющие ноги, себя чуть обок рядом с печальным обозом и Мальвину, которая нечаянно встретилась с твоим испуганным взглядом, и её глаза, открывшие тебе путь в другой мир, другую жизнь, другое время. В них было столько... а теперь два времени совместились необъяснимым образом, и единственное, что ты мог пролепетать севшим голосом: «Лидия Николаевна...».

– Этого не может быть! Вы? – что-то хрустнуло в дёрнувшемся плече, пересохло горло, мама пошатнулась и, чтобы не упасть, двумя руками ухватилась за рукав твоего пиджака повыше локтя. По щекам её ползли тихие слёзы, и доктор, выйдя из затянувшегося оцепенения, поднялась из-за стола и шагнула вам навстречу...

– Никита!..

Ты был приучен уже к выдуманным обстоятельствам жизни: небывалым рекордным урожаям и надоям – зерно сыпалось и молоко лилось рекой из репродукторов и с телеэкранов, и все фундаментальные открытия в мире принадлежали только России, и самая свободная жизнь была вокруг тебя, но никто не рассказывал об очередях с номерками на ладони за хлебом до сих пор, а ты помнил ещё о них, и как потом долго не смывалась анилиновая краска, никто не писал об обгоревших обезноженных танкистах на «танковом острове», куда власть запихнула их, чтобы не смущали мирных граждан, не портили картины счастливой жизни, и они тихо спивались там под громы салютов в честь побед, которые именно они и добыли... Господи, но это невозможно! Невозможно! А что бы сделал Гузевич? Вот бы увидеть его и сказать ему, что нашёл ниточку, ведь он говорил тебе, что искать бесполезно!

Когда ты на следующий день один пришёл к доктору поговорить о болезни матери и задать те вопросы, которые так и не озвучились во время первого визита, она объясняла тебе:

– Болезнь твоей мамы в том, что она никак не может переплыть реку...

– Реку? Какую реку?

– Она всё ещё на том берегу... в прошлом... и пройти этот брод, чтобы выбраться на эту сторону, очень трудно... это постсиндром...

– О чём вы, Лидия Николаевна? Я не могу разобраться.

– Прошлое не отпускает её. И сил тянуть на себе такую ношу не хватает, но, чтобы сбросить груз, ей надо тоже очень много сил, а их отняла война, эвакуация – всё то прошлое, которое тянет назад...

– Постсиндром, – повторил ты...

– А сил рвануть, скинуть с себя всякую ношу не хватает. Чтобы бросить груз, надо тоже очень много сил. Их отняли война, эвакуация – всё прошлое, которое тянет назад...

– Что же делать?

– Может быть, и не отпустит... – она, не поднимая взгляда, долго молчала, опустив глаза и бессмысленно тыркая остриём карандаша в лист бумаги на столе. – Всякие седативы только придавят её... она станет менее активной, малоподвижной и...

– Не надо... Я понял – медицина бессильна...

– Здесь главное не это, не медицина бессильна...

– А что?

– Сколько сил осталось у человека, чтобы преодолеть тяжесть груза прошлого, сдвинуть его и поверить, что можно всё исправить, даже начать сначала, а прожитое оставить на том берегу, понимаешь...

– И это для всех?

– Что ты имеешь в виду?

– Вы, наверное, знаете, о ком я говорю, – буквально просипел ты севшим голосом. – Она здесь, в городе?

Она пристально посмотрела ему в глаза:

– Никита! Тебе нехорошо? – она по врачебной привычке схватила его руку и стала проверять пульс, остановив жестом его попытку ответить. – Она тоже всё время спрашивала о тебе.

– Где она?

– Её нет... – но она не успела закончить фразу, ему действительно стало плохо, и больше он ничего не слышал.

– Никита! Никита! Нельзя же так! Её нет в городе. Она далеко. Учится... и тоже в медицинском.

– Далеко? В медицинском? А что, здесь нет медицинского?

– Ты уже закончил... а она только поступила в прошлом году... есть медицинский, конечно. Не для всех... приходите ко мне домой на чай... Приходите... сегодня.

В старом доме на Пестеля пахло кошатиной. Лестница со стёртыми посередине ступенями. Потерявшая деревянную резьбу от десятка слоёв краски, наложенной на неё, высокая дверь. Коридор, завешанный с двух сторон детскими ванночками, корытами, мешками с тряпьем, и неистребимый плотный запах претрума и нафталина.

В комнате, освещённой старым абажуром над круглым столом, был совсем другой, контрастный мир прежнего Петербурга с обилием книг и старого фарфора. Заметив твоё удивление, Лидия Николаевна ответила, не обращая ни к кому:

– Не всё сгорело, не всё разбили и разграбили, хотя, честно говоря, я и сама удивляюсь, как это могло уцелеть!

Разговор никак не налаживался. Женщины перебрасывались дежурными фразами, ты рассматривал чёрно-белые, увеличенные до появления зерна портреты: строгого мужчины во френче на все пуговицы, совсем молодой, просто девочки Лидии Николаевны в открытом платье с красивым декольте и девочки с огромными глазами, которая стояла между ними на стуле. Она была совсем другая здесь! Не его, не Мальвина, и он быстро отвёл взгляд...

За чаем Лидия Николаевна сказала:

– Я предвижу ваши многочисленные вопросы, и, чтобы ответить на них сразу, расскажу одну историю о женщине, которую хорошо знала. Она была нашего круга, – и хозяйка махнула кистью куда-то назад в бесконечное далеко. – Я довольно регулярно бываю на кладбище... есть кого навещать...

Однажды при входе увидела одного из рабочих – здоровый детина в меховой шапке, куртке нараспашку и туго натянутом на круглый живот свитере, он шёл центральной аллеей, хозяйски оглядывая по сторонам территорию, прямо навстречу, закрывать уже собирался. А когда увидел меня, вдруг сказал: «Я заметил вас, вы тут часто бываете... что так поздно? Ну, давайте я подожду ещё полчаса... а она кто вам, родственница или... Я знаете, что заме-

тил: она, только не подумайте, что я сумасшедший, всегда бормочет, ей-богу, стихи какие-то. А памятник классный. Вот снег прошёл, а завтра опять: на них ни крошки, следа не будет!..

Вот это любовь... удивительная... женщина...» – и это уже было не ко мне, а в пространство, так искренне и восхищённо. И я тогда подумала: «Значит, люди тоже это заметили! Значит, ничего не проходит бесследно...».

Вообще-то говоря, днём по белоснежным мраморным, сливавшимся в зимнем свете с окружением фигурам скользили совершенно равнодушные, привычные взгляды бывавших здесь людей, занятых своими горькими мыслями, но вечером, когда оживают пугливые тени между могильными оградами и прижившиеся тут бездомные псы взвизгивают неожиданно по только им понятной причине, особенно романтически и возвышенно-старомодно проблёскивают золотом на постаменте с двумя слившимися в объётах фигурами золотые буквы стихов, и кажется, слышны два голоса, шепчущих друг другу.

Это памятник не стринный, послевоенный, людям, которых я знала...

Когда случился октябрьский переворот, родовитая семья подалась на юг с белой армией, и потом с великими мучениями навсегда рассталась с Родиной, а она, молоденькая курсистка, прониклась идеями новой власти и решила служить России. Однако очень скоро поняла, что вожди всех рангов испытывают к ней значительно меньше доверия, чем она к ним. Но это она приняла как естественную плату за прошлое...

Трудности девушке поначалу даже нравились. Она романтически мечтала доказать свою лояльность и веру в новое дело, а потом совершить что-то значительное, если не великое, или, если не удастся, просто служить народу тихо и незаметно...

Однако вскоре она поняла, что ей активно мешали осуществить что-либо похожее, а проще говоря, выталкивали, вытесняли из действительности, а то и напрямую сердобольно и жёстко советовали, что есть ещё время, судя по её фамилии, присоединиться к сбежавшей семье, пока не поздно... Её переселяли, уплотняли, упрекали и пресекали все попытки применить свои умения и знания на пользу общества...

Очень скоро она оказалась в подвале соседнего с их особняком дома, в так называемой дворницкой, с окном в ямке ниже уровня тротуара, сырыми стенами и выходом на задний двор, где стояли мусорные бачки и жаровня над открытым люком сточного колодца для растапливания убранного с улиц снега.

Вещи незаметно распродались, потом истратились драгоценности, потом она стала голодать, мыть по случаю полы у новой знати, убирать общественные туалеты, расклеивать афиши и воззвания, пока не набрела на кладбище, где сначала подружилась с собаками и подъедала вместе с ними неизвестно где и как добытые объедки, а потом была допущена убирать могилы сжалившимися над ней работягами, бессовестно, к тому же, грабившими её нищенские заработки...

Здесь-то он и увидел её в совершенно отчаянном положении, исхудавшую до последней жизненной возможности и в невероятном тряпье. Собственно говоря, он увидел не её, а оставшиеся живыми глаза со звёздно-голубым блеском и бездонной чернотой стянутых в точку зрачков... Привычным врачебным взглядом он оценил, что человек этот уже перешёл грань действительности и только по неизвестной случайности задержался на белом свете, очевидно, всё же по инерции доделывая какие-то прежде важные дела.

Когда он привёл её в дом, она была совершенно заторможена и плохо понимала, что с ней происходит. Он собственноручно отмыл её непонятно чем жившее тело, одел в свою пижаму и сел за столом напротив. Тут он обнаружил то, что пробивается сквозь любую толщу грязи и обстоятельств, – перед ним была не опустившаяся грязная девчонка, а брошенная под ноги обстоятельствами ещё недавно красивая и с аристократическими манерами женщина!

Он задним числом смутился за бесцеремонность обращения с её телом и разговора с ней при извлечении её на свет и спасении... Неделю она отсыпалась в его двухкомнатном раю и пыталась приложить руки к хозяйству одинокого мужчины.

Он не расспрашивал её ни о чём, только доставал всеми правдами и неправдами продукты, чтобы кормить получше, считал каждый вечер, вернувшись со службы, рваный пульс в истощённой руке, неотрывно глядя в циферблат золотой луковицы, и ничего не говорил. На седьмой день, точно как по Библии, когда Бог создавал человека, он просто и твёрдо предложил ей руку и сердце, увидел странный испуг в огромных глазах, тут же потопленный безмолвными слезами...

Она не пожелала сменить свою славную родовитую фамилию, хотя претерпела из-за неё нечеловеческие страдания, на его еврейскую. Отказаться от него тоже не захотела. Так между двумя именами появился дефис, а может быть – кто знает? – знак вычитания...

Первый раз его забрали на перевоспитание в 32-м году, как раз туда, где великий пролетарский писатель, чтобы написать об этом, изучал коммунистическую мораль и практику созидания нового человека, но через два года его выпустили. Потом забрали основательно в 37-м. Объявили иностранным агентом из-за родственников, которые бежали за границу, как и её семья. Хотя он даже не знал, остались ли они живы...

Она опять оказалась в подвале без всяких средств и... отправилась на кладбище, где уже однажды спасалась в трудную пору.

Война списала все его «измены» в штрафбате. Врачей не хватало. В 45-м он вернулся с офицерскими погонами и верой, что можно начать жить сначала. Но в 52-м его снова настигла карающая рука пролетариата, он проходил теперь по «делу врачей», а она опять опустилась на самое дно...

Удивительно, что её не сажали, не таскали на допросы, хотя запросто могли расправиться, как бы мстя за родовитость, достоинство и непреклонность. А может быть, им нравилось снова и снова окутать её, как в турецкой пытке, в чан с дерьмом, красноречиво доказывая: «Вот как мы можем! Вот как!»? Они ведь были великие выдумщики!..

Когда же была дописана последняя страница жизни самого кровавого диктатора всех времён, он вернулся!

Видимо, Бог для чего-то берёт их, и они это чувствовали, и, больше того, часто говорили об этом...

Жизнь понемногу начала налаживаться, но даже закалённые гены его древних предков, скотоводов и воинов, стали сдавать. Он начал сильно болеть и, как врач, понимал, что ему осталось немного жить...

В стране, как известно, жизнь шла по плану. Решено было отметить годовщину славной даты русской истории, к которой её прапрапрадед имел самое непосредственное отношение. И тут вспомнили, или и не забывали, что на родине живёт прямой потомок славного русского рода, и можно показать всему цивилизованному человечеству, что они не Иваны, родства не помнящие, а гуманные и великодушные люди!

Её немедленно нашли и пригласили на самый-самый верх, где, не стесняясь, предложили сделку: вычесь из фамилии и жизни то, что со знаком минус, а взамен – квартира, деньги, слава, уважение, почёт, тур за границу, может быть, даже встреча с остатками рода... Она вдруг почувствовала всю силу и превосходство своего аристократизма, за который по их воле страдала всю жизнь, и не удостоила люмпенов даже ответом...

Мужа своего она вскоре похоронила. Теперь её вдруг можно было увидеть на самых модных выставках, в салонах и галереях. Не удовлетворение художнического голода и не праздное любопытство вело её – она искала скульптора, чтобы заказать ему памятник...

Мастер, человек средних лет и большого достатка, встретился с ней в шикарной мастерской, внимательно смотрел на необычно строгую высокую женщину в чёрном со старомод-

ными манерами и выговором, который остался, пожалуй, только у старых актёров МХАТа. То, что она предлагала сделать, стоило немалых денег. Она помолчала, вынула из футляра очков бархатный изящный мешочек с монограммой и вытряхнула на подставленную ладонь скульптора перстень с невероятной красоты камнем, так что разговор прервался и наступила долгая тишина. Маэстро понимал, что это не могло быть подделкой. Его не смущало и то, что, вероятно, очень трудно или невозможно в этой стране перевести в денежные знаки этот раритет, но он чувствовал некий магнетизм того, что лежало у него на ладони и буквально гипнотизировало его. Он бы не смог описать словами, что чувствовал и о чём думал, но значительность маленькой вещицы, ювелирного шедевра превосходила всё, с чем ему приходилось встречаться... Может быть, потому, что она лежала у него на ладони, может быть, потому, что его фантазия разыгралась и уводила в прошлое, открывавшееся за этим перстнем...

Она вдруг заговорила в тон его мыслям, и он даже вздрогнул!..

– Это принадлежало нашему роду и переходило из поколения в поколение по женской линии. Он мой по праву наследства, – она назвала свою фамилию и увидела, как сомнения ещё больше терзают стоящего перед ней удивлённого происходящим человека. – У меня никого нет, – продолжила она и добавила после паузы: – Здесь. По моей кончине он, конечно, достанется им. Если бы вы знали, какими муками и тяготами он спасён, вы бы оставили все сомнения. Вы сделаете доброе дело вдвойне, праведное дело...

Ровно через два года, день в день после того, как памятник установили на место, её похоронили в ту же могилу, рядом с мужем... Светило солнце, её знакомые кладбищенские парни аккуратно и не спеша опустили гроб в яму. И вдруг из крошечного набежавшего облачка, ещё до того как первые комья глины ударили в крышку, на неё пролился короткий слёзный дождик...

И вот они никогда не разрывают объятий – слишком часто не по их воле это случалось с ними при жизни. Но слышно, как поздними вечерами с морозным хрустом размыкаются мраморные губы, и они дарят друг другу любимые строки с нежностью и чистотой, какие возможны только в миг первого объяснения в любви на всю жизнь, до последнего вздоха, до гробовой доски...

Теперь, я думаю, вам понятно станет, почему Ниночка не могла поступить в институт – ни с первого раза, ни со второго... у неё не моя фамилия – фамилия отца, а она слишком неподходящая для этого города...

Она уехала, не стала больше испытывать судьбу, поступила с первого раза, и нам повезло – она живёт у моей подруги, которая там осталась после ссылки навсегда. Я дам тебе адрес, Никита. Она тоже спрашивала о тебе... но я думала, что всё кончилось вместе с детством. Хотя... кто знает, вы тогда так быстро повзрослели...

В редкие встречи Гузевич непременно спрашивал: «Ну, что – получил ответ?.. как не написал? Где же логика? Или ты решил, что лучше не искать – пусть останется, как светлое вчера?!». Тебя подмывало спросить: а как бы вы сделали, но тут же внутри начинался протест, что это неприлично, что у каждого своя дорога, а уж в таком-то деле... он же не сказал, как обычно бывает, «я бы»... Не сказал и, значит, думает так же... в этом деле советов не бывает. Но что-то не давало тебе написать своей исчезнувшей Мальвине – а вдруг она так изменилась, что только разочарование останется от её ответа...

Эта мысль о письме буквально преследовала тебя. Неделю, другую ты крепись и не мог решиться: писать – не писать...

И каждый прожитый день добавлялся в копилку «Помнишь?». Она уже была переполнена такими событиями и деталями, что они перемешивались, соскакивали со своих насиженных мест, объединялись, и трудно было иногда определить, «когда это было?».

Вот ты сидишь у окна с со старым потёртым кисетом, ещё пахнущим махоркой, распустил шнурок, сжимающий горловину, и медленно выдавливаешь камешки по одному, и каждый выплывает будто из памяти, ложится на твою ладонь, как вновь вынутый из ручья, что бежал по дну оврага, куда ты наконец решился провести Ниночку, когда она чуть окрепла и могла бы на обратном пути вскарабкаться по склону.

Овраг этот, чем ближе к реке, становился всё глубже, и склоны его всё круче! Туда ходить не разрешалось – можно было оползти вместе с землёй, и она бы закопала тебя до головы – не выбраться. А в том месте, где на колышек привязывали пастись коз, куда ходили полоскать бельё, собирать крапиву, паслён и иван-чай, ты бегал много раз и хорошо знал тропинку, наискось перечёркивающую склон до самой воды и нескольких дощечек, положенных на вбитые в берег столбики.

Вы медленно шажочками спускались по ней. Ты шёл первым, держа на уровне своего плеча Ниночкину руку, чтобы, если её нога соскользнёт, и её потянет вниз по склону, преградить ей дорогу и удержать.

На узкой полоске берега ты разулся, и то входил в очень холодную родниковую воду, то выходил обратно и подавал Ниночке поднятые со дна мокрые сверкающие камешки, а она говорила: «Некрасивый» или вдруг восклицала: «Ой, какой!». И даже подпрыгивала от радости! Так вы набрали большую горку. Камешки сохли, становились некрасивыми – обыкновенными, какими была устлана и тропинка, и улица, и любая проплешина вокруг, где не росли сурепка, подорожник и одуванчики. Вы сели рядом с этой грудой камешков и стали их сортировать, и те, которые остались интересными – с разноцветными полосками или блестящими вкраплениями звёздочек то золотых, то серебряных, Ниночка откладывала в сторонку, где образовалась другая маленькая кучка. Всё это вы делали медленно-медленно, и сейчас ты представлял, что сидишь рядом с Ниночкой, обтираешь каждый камешек ладошкой и потом подаёшь ей, а она поворачивает его пальцами, рассматривает со всех сторон и снова отдаёт тебе, чтобы ты спрятал драгоценность в карман. Это была не игра – священнодействие, и теперь оно повторялось вновь, будто отрепетированное и сохранённое навсегда. Да так и было. За опущенными веками материализовался тот невесомый мир, существовавший в тебе и готовый всегда открыть своё пространство для проживания.

В последний день в час прощания Ниночка протянула тебе этот кисет на память, но ты отказался! Ты клялся, что они тебе не нужны и просил её оставить себе. Ниночка замолчала, губы её надулись, но ты успел предупредить обиду своим тихим «ладно» и спросил: «А как же ты свои будешь хранить?». Она ответила: «В шкатулочке». И правда, у неё была маленькая шкатулочка, сделанная крошечным сундучком с покатою крышкой и откидной ручкой на самом её верху. Он знал эту шкатулочку с самой первой минуты – Ниночка так прижимала её к себе, когда сидела на телеге, ползущей в гору от пристани, что каждому было ясно: ничего дороже на свете у этой девочки нет и никогда не будет.

Эти картинки так бережно сохранились в тебе, что ты удивился сам их возникновению от вида сухих и непонятно почему казавшихся красивыми богатств. Похоже было, что и ты прижимал к себе эти камешки, как наверняка Ниночка сундучок, столько лет. А усомниться в этом у тебя не то что не было повода, но даже сама такая мысль ни разу не пришла тебе на ум.

Всё это было необычайно. Ты жил в тревожном ожидании чего-то, и когда начинал размышлять, писать тебе или нет, липкий страх сковывал душу, и ты каждый раз не мог ни на что решиться.

Наваждение длилось уже несколько недель. Выхода никакого не было...

Однажды ночью, часа в два, резко зашуршала бумага, и ты проснулся. Окна закрыты. Животных в доме не водилось... ты подумал сразу, что это во сне тебе показалось так явственно! Зажёг свет и сильно удивился: посредине свободного пространства пола лежал лист писчей бумаги с несколькими строчками. Как он слетел со стола, почему? Самостоятельно?..

Ты нагнулся, поднял его и, бормоча, начал разбирать свои каракули.

«Если бы человек знал, что ждёт его в результате любого действия, жизнь бы остановилась...» – продолжения не было.

Ты перечитал написанное, состроил саркастическую гримасу с поджатыми губами и бросил лист... тот плавно порхнул в воздухе влево-вправо и опустился точно на прежнее место.

Ты заметил это, качнул в знак удивления, головой: «надо же – мистика какая-то», нахмурился, растянул в стороны сжатые губы и снова лёг в кровать.

Заснул ты быстро и легко, и в момент, когда оторвался от действительности, тебе приснилась женщина, непонятно только: одетая или голая... она лежала на тебе, и лицо её оказалось так близко склонено над твоим собственным, что и рассмотреть его было трудно. Ты только вникал в огромные круглые зрачки, а они всё расширялись, расширялись, затягивая в себя... ты не хотел, сопротивлялся, уже цеплялся руками за простыню и понимал, что бесполезно.

– Ты что? – выдохнули её губы напротив твоих губ. – Не хочешь погрузиться в меня?

– Нет, нет! – ты засипел. – Не хочу! Не хочу! Я и так весь в тебе! Со всем, что умею, знаю, хочу, не хочу – я существую в твоей оболочке, а ты ещё что-то требуешь! Что? Что?

– Всё, чего ты недодал мне!

– Я разве обманул тебя?

– Нет. Ты мне сразу сказал, что так будет...

– Я? – удивился ты. – Что будет? Что? Когда?

– Что ты проглотить меня... и навсегда...

– Я??? – ты задохнулся. – Я никогда не знал этого, да если бы я знал! А ты... ты приходишь каждую ночь. Ты ушла, чтобы приходиться! И после этих ночей мне никто не нужен, и ничто не годится в жизни. Ты взяла всё, что хотела, – больше, чем можешь унести...

– Нет. Это ты всё навывдумывал. Потому что меня нет рядом, и тоска морочит тебя. И теперь тебе не выбраться. А у меня ничего нет... и тебя тоже... и мне никто не нужен... ты убил нас. Меня и себя. Мы умерли. И теперь можем соединиться... и тебя не будет мучать совесть... Ну! Не бойся! Иди! – и зрачки обхватили тебя со всех сторон... залепили глаза и рот, и нос... стало нечем дышать... рванулся сесть... Но утро ударило тебя волной света, и ты плашмя рухнул обратно на подушку.

– Ты снишься мне или я брежу? – беспомощно прошептал и явственно услышал её голос.

– Вся жизнь теперь – сон. Ты разбудил меня, родил для любви. Теперь я рожу тебя для себя. Ты выйдешь из меня, чтобы навсегда со мной остаться. Понимаешь, ты не можешь исчезнуть... ты не можешь исчезнуть один... – выдохнула она прямо в твои губы. – Понимаешь? Не кори себя. Я сама виновата... не смогла дать столько счастья, чтоб этот поток нёс тебя, и ты не сумел бы выбраться... ты нырнул с головой, а как стал оглядываться, где оказался, – испугался... нет, не от трусости... от счастья! Значит, так тоже бывает... оно пугает, если его мало, чтобы заполнить всё остальное в жизни... чтобы было только счастье – я сама виновата... – ты лежал с закрытыми глазами и плохо понимал, что же на самом деле с происходит. Ответить? Кому? – ты с трудом разодрал веки – никого! Снова закрыл глаза и опять явственно почувствовал её дыхание на своих губах. – Ты всё это знаешь... ну, посмотри с моей стороны: провинциальная девочка, общежитие техникума, комната на троих, завидки брали на товарок – они такое рассказывали, возвращаясь по утрам, что я задыхалась от волнения и страха! И не шла... не шла с ними, хоть заманивали и звали... опытный мальчик раскусил меня. Чужой. Он не наскоком взял, как ты... а удивлением! «Разве такие бывают?!» и «Так разве бывает?!». Ухаживал! Обхаживал! Может, любил даже? Не знаю. И почему пошла за ним – не знаю. Я знаю только, почему ушла от него. И не поплакала... и ему легко было. От него только маленький кусочек оторвался. Но он сопротивлялся, конечно, – обидно ему стало! А я будто ожила! Витка на руках, комнатка в коммуналке... и всё. Ни диплома, ни денег, ни помощи... да перемочь-то, оказывается, всё можно! А ты когда появился, я уже не думала

о том, как умереть лучше и чтобы сына спасти... помогли мне люди... и товарки мои прежние особенно... хоть и советовали порой непотребное, да убеждали... сказать честно: не выдержала, попробовала раз-другой, а потом-то никак в себя вернуться не могла, витала над, сама себя внутрь не пускала... и очень меня вода влекла! Как воду завижу – меня тянет! Хоть в лужу... я под душем часами стояла... может, грех смыть хотела – это если по-простому смотреть... – ты застонал и заскрипел зубами: «Так это ж про меня! Это ж я теперь никак в себя вернуться не могу. И не вернусь уже!». – Послушай! – она толкнула его в грудь так сильно, что сбилось дыхание, глаза сами собой распахнулись и тут же крепко зажмурились от невероятного усилия не закричать. – Послушай! – порхнул у на твоих губах её выдох. – Ты когда появился, я внутри так заостенела, что не могла ни улыбнуться, ни руки протянуть, ни глаз на тебя поднять... это случай... камешек на дороге, что в туфлю залетел – без предупреждения, без надобности, без спросу, а ведь остановишься и поклонись, и внимание окажешь!.. Не забыл, как всё было? Не забы-ы-ы-ыл!.. Потому что это первая любовь у тебя была! И у меня тоже! А первая не забывается... а что до того-то было? Да разве арифметикой объяснить можно! Какие ж я слова услышала! Да какие у тебя губы! Я тут враз обессилела, потому что у меня после столбняка моего сразу вспышка – ослепла, ослабла, распахнулась и загородилась тобой в один момент от всего – ничего мне не надо стало... а когда я поняла, что и тебе кроме меня ничего не надо, опять ожила и расцвела... не то что почувствовала – увидела! Рассказали бы – не поверила б. Увидела!.. А когда Витька заболел, и ты спас его... разве это объяснишь... мне показалось, что ты ему не чужую кровь переливал, а свою... и он после больницы без тебя ни есть, ни пить не хотел... Помнишь?.. Мне даже показалось, что он на тебя похож стал! И нянечка там, в больнице, всё обхаживала меня: «Повезло вам, мамаша, у Никиты-то Степановича золотые руки! А кто он, кто вам? Родственник или так?». Люди простые вопросы задают. Самые трудные. Я не знала, как ответить – не ей, себе. И сердце привирало: постучит, постучит – остановится! А ж дыханье перехватит... и опять давай колотиться... значит, правда, сердцем любят... Я потом прокляла всё на свете... «родственник или так...», и благодарность забыла... Ты и сына забрал со мной вместе... и не вернул.

И потом она приходила каждую ночь, едва ты засыпал, и оставалась до момента пробуждения. Её присутствие было настолько плотски ощутимым, и ночная жизнь настолько реальной, что утром ты шёл искать следы её присутствия... но нигде не мог ничего обнаружить... ни остатков обеда, ни недопитой бутылки вина, ни клочка бумаги с её почерком, ни пенальчика помады, полотенца, голубенького халата, увесистой косметички, сброшенных наскоро туфель, любимого шарфа, который подарил ей на день рождения... ты бродил по квартире, не соотнося своих поисков со сном и действительностью, – должно же было остаться хоть что-то от вашей совместной реальной жизни, которая происходила ночью!.. Ты не допускал и мысли, что это было нечто другое! Наверняка реальное, но такое, что не оставляет видимых материальных следов... ни одной фотографии ни в альбомах, ни в бумажных конвертах, а ведь вы накануне вместе рассматривали их, как стоите на набережной, плывёте на речном трамвайчике и смотрите на далёкий берег, опершись локтями на перила... ни одного письма, адресованного ей...

Ничего. Дневная жизнь теперь стала ожиданием. Что бы ты ни делал, ждал. В дороге на работу, в больнице, во время еды, вечером на прогулке. Ты прибегал ко всяким уловкам. Например, шёл медленно-медленно по вашей любимой аллейке в парке, медленно и закрыв глаза, в надежде, что вдруг почувствуешь, как бывает ночью, её прикосновение губами к щеке и просунутую узкую ладонь между твоими локтем и талией... или застывал в кресле перед окном и притворялся спящим, всё более напрягаясь и не шевелясь, ты старался представить, что вот сейчас она бесшумно опускается на коленки и щекой ложится на твои ноги... точь-в-точь как ты любил делать ещё мальчишкой, когда мама сидела изредка на диване и держала опущенные перед собой руки ладошками одна к другой... тогда ты подбивал их своей

макушкой, сдвигая к животу, удобно по-кошачьи устраивался щекой на пахнущем домом пла-  
тье и застывал...

Нет. Закрывать глаза и притвориться – было мало. Как ни воображай – она не появлялась. Зато стоило лишь провалиться в сон, её горячее узкое тело возникало рядом с твоим и существовало настолько реально, что ты просыпался с накусанными губами, следами её впившихся ногтей на плечах и шее и полным блаженным опустошением и томлением внутри, которое вливается в расслабленное тело после счастливой близости.

Ты чувствовал, что мир перевернулся не в переносном смысле... но только для вас двоих. Тогда снова, как жизнь назад, когда она вдруг оборвала все связи и исчезла из поля зрения, ты бросился на поиски. Тебе казалось, что ты снова позвонишь в знакомую по ночному быту дверь и услышишь: «Кто там?», от которого каждый раз сжималось горло и становилось пусто в животе... Нет. В обычной реальной жизни ничего не изменилось, а твоя жизнь приобрела смысл после того первого сна – ты снова ждал её... даже не так. Ты ждал её, как привык ждать много лет... потому что в тот год, как в эвакуации утром неожиданно познакомился с ней, вы не расставались... как теперь стало ясно...

Однажды тебя вызвали и предложили поехать в другую республику в командировку, там после землетрясения требовались врачи в больницу. Далеко. На самолёте. Пришлось. Там в гостинице ты, как всегда, отключился мгновенно – лишь коснулся подушки. Но среди ночи вскочил, потому что её не было, лишь страшная тревога бунтовала внутри: с ней что-то случилось! Ты бросился вон из пустого гостиничного номера, с трудом добрался до аэродрома, разыскал и уговорил командира подбросить хоть до станции на «кукурузнике»... когда ворвался домой, уже было утро, ты свалился в кровать, но не смог заснуть и с двумя таблетками люминала... Весь день промаялся и занимал себя делами, требующими внимания, а вечером провалился в сон, не успев раздеться, явно истратив за день все силы души и тела на сдерживание, на отсрочку этого момента...

Она была тут как тут... и расспрашивала об операции, и успокоила, что ребёнок в порядке, – звонили из больницы... и благодарили и молились на его золотые руки!

Окружающие заметили, что с тобой происходит что-то, но не могли объяснить. Ты тоже объяснить ничего не мог... только вовсе не ездил отдыхать, забросил любимую рыбалку с поси-  
делками у костра, отказывался от командировок, участия в совещаниях и симпозиумах... потому что она приходила к тебе только дома...

Вконец измученный и опустошённый, ты подумал мельком об освобождении... оно казалось возможным... жизнь сама подсказала его: лишь поменять своё место! Но следом пришла другая неожиданная мысль: раз она приходит по ночам, значит, умерла, многие рассказывают о таких случаях перевоплощения близких! Тогда почему не отправиться к ней вообще, самому, чтобы, наконец, никогда не расставаться, как мечтала, наверное, и она с самого начала их знакомства... А ты... что с тобой случилось?! Ты уже не хотел никого спросить: «А я бы так... Что?..». Мельком, стороной скользнула мысль, нехорошая мысль, но ты знал, что не сумеешь этого сделать...

Однажды ты обнаружил, что стоишь у военкомата... Зачем? Пушкина тянуло на Кавказ, Лермонтов искал чеченской пули, Толстой воевал и писал об этих людях... Может быть, в тех краях, где-то, где качался на волнах Потопа Ковчег и осел навсегда, где шла всё та же бесконечная война, живёт освобождение?.. Но тебе отказали и просили больше не беспокоить.

В ту ночь она впервые не пришла.

Он лежал с закрытыми глазами, не засыпая долго-долго, пока наконец отчётливо не услышал её голос: «Ты нас второй раз предал. Кончилась жизнь...».

И в этот момент, перед тем, как провалиться в сон, он успел подумать: «Слава Богу, может, не наступит утро!..».

Больше она никогда не приходила.

## Тот самый Паша (роман в зарисовках)

*Дождь идёт... глаза закрою —  
Капли падают в Ильинке,  
Ноготки перед грозой  
Наклоняются к тропинке,*

*Сруб темнеет, плачут стёкла,  
Не проехать — лужи стали,  
Всё до ниточки промокло —  
До чего ж дожди достали...*

*Но чуть дождь — и улетаю  
В ту далёкую Ильинку.  
Память нехотя листаю,  
Вижу давнюю картинку.*

*Снова пьяные заборы,  
Хочешь — слева, хочешь — справа,  
На опушке лома горы,  
До краёв полна канава.*

*И фонарь кривой не светит...  
Отчего же всё родное?  
Не могу себе ответить:  
Счастье где и что такое?..*

## Паша

Паша напивался регулярно, то есть каждый день. Его жена Клавка выскакивала на крыльцо примерно через полчаса после прихода мужа с работы и орала ненормальным голосом на всю улицу: «Убивают! Ой, ой, ой... ойййййй!» — и далее непередаваемое и нескладное словосочетание, выражавшее крайнюю степень... её страдания. Но... поскольку это повторялось почти каждый день, никто не обращал внимания. Если только проходящий мимо Володька Харламов произносил, сплёвывая: «Вот сука...» — и мотал в крайнем раздражении головой, потому что понимал, что немедленно ни за что не получит Пашу в собутыльники — с Клавкой связываться было опасно.

После того, как Паша выкладывал из сумки довольствие, позаимствованное безвозмездно в столовке, где он работал поваром, в семье наступало временное перемирие, затишье и даже благодать. Супруги усаживались на запущенной до непереносимого свинства кухне за стол возле мирно шипящего АГВ, откупоривали бутылку и выпивали, закусывая дармовой свежей снедью. Тут у Клавки начинался сеанс словоизлияния. Шлюз открывался автоматически под напором скопившихся за день новостей. Поговорить ей было негде — она не работала. Не то чтобы не хотела — не имела места. Единственное, что она умела делать: мести полы, потому что доверить ей уборку было невозможно — любой, нанявший её для такого существенного дела, понимал после первой попытки, что лучше было не приглашать эту женщину, ибо непонятно как, но пыли на предметах после её ухода стало больше, некоторых бумаг не удалось

найти, а из ящиков, с прилавка, карманов и т. д. пропали некоторые предметы, что ужасно больно било по самолюбию нанимателя. Клавка сидела дома за фанерным забором из почерневших щитов от упаковочных ящиков. Щепка свисала с этих листов серыми кольшущимися даже в полное безветрие лоскутами, иногда, ударяясь друг о друга, производила нежное щёлканье, не имеющее аналога в природе... да и сама хозяйка была уникальна.

В детстве Клава со стула читала громко и с «художественным выражением» стихи, как учила руководительница кружка в местном клубе, до седьмого класса добралась она легко и по настоянию родителей вынуждена была перевестись из своей школы в полную среднюю, где образовывали до десятого класса. Школа эта находилась на другой стороне железной дороги, разделяющей посёлок надвое. Идти утром в стылую осеннюю, а тем более зимнюю пору было холодно, и в одно из пасмурных предзимий девчонка зашла погреться в пристанционную чайную, которая открывалась в семь утра, и в которой было всегда тепло от вечно кипящего титана, непроветриваемого табачного дыма и неостывающей печки-голландки с остатками дореволюционных изразцов... Верка-буфетчица, искоса взглянув на вошедшую щекастую девку, бросила небрежно:

– Ты чья ж будешь?

– Попова я... – крутанула головой бойкая Клавка. – А погреться можно?

– Грейся!.. – скривила губу Верка. – Жалко што ль...

Клавке было хорошо в тихом пустом зале с квадратными коричневыми столиками и сероголубыми стульями на когда-то хромированных ножках. Ей понравилось тут. Она постояла минут десять и, бросив на ходу «спасибо», уметнулась в дверь... но на следующее утро снова заглянула сюда, и на следующее опять по возникшей уже привычке...

Эта привычка и подвела её, потому что однажды ввалившиеся вслед за ней румяные и весёлые парни пригласили её к столику и угостили чаем. Они легко и умело шутили, восхищались её настойчивостью в ученье и румяными щеками, но больше поглядывали на туго натянутую на груди кофточку... ей было хорошо под их взглядами, тепло за их столом. Парни приехали на местную стройку и давно посещали чайную по утрам, только всегда чуть позже, а тут... надо же как повезло: познакомились.

Клавка решила, что первый урок может подождать, главное, что ей хорошо...

Сошлась она с Василием. Такой взрослый, самостоятельный. Надоели материнские наскоки и отцовская ругань, а он слушал её, даже слушался... когда они сошлись, школа вовсе отодвинулась... просто осталась на той стороне линии, а станция, общага, чайная – это всё на этой. И они с Василием. Как получилось, что она осталась одна и в ожидании ребёнка, сама объяснить не могла... Никто не знал – ни мать, ни подружки, ни в школе... как раз лето надвигалось, их девятый в колхоз соседний посылали на сельхозработы. Клавка поехала. Паша там ей и подвернулся. «А чего, – решила она, – что мне – матерью-одиночкой, что ли, век коротать?». На третий день они уже спали вместе в стогу, а через месяц ровно призналась ему Клавка, вся в слезах, что ждёт ребёнка...

В сентябре Паша заявился к родителям невесты руки просить. Отец его хотел с крыльца спустить, да присмирел сразу, когда Паша ему врезал, что, как честный человек, обязан жениться на девушке, а не бросать её в интересном положении...

В школу Клавка не пошла. Обещала, правда, как сынок родится, в вечерней получить аттестат, да всё не по её вышло: чуть не померла она при родах, а девчонку не спасли... и успокоили её, пусть, мол, радуется, что сама жива, а о детях забудет вовсе, хоть бы кто как ни старался...

Такая обычная история... и жизнь обычная: угрюмая ночь в любовных обиходах, утро в похмелье, работа по двенадцать часов до холодного поту, вечер с дракой и выпивкой... и всё сначала... кроме воскресенья! В воскресенье Павел Сергеевич надевал костюм и уходил из дома попозже, а возвращался... когда, не знал сам – его приводили дружки или приво-

зил на трёхколёсной таратайке участковый Белицын, который никогда не сдавал его в кутузку, поскольку, случись это, он бы лишился дармовой закуски в неограниченном для него количестве.

Паша заимствовал в столовой с чистой совестью: он считал, что ему за каторжный труд платят слишком мало, и компенсировал натурой недостающую, по его мнению, долю. Все знали, что он тянет, но не выгоняли, потому что, во-первых, всем, кому положено, перепало от него сколько надо, а во-вторых, был он безотказным умельцем по части гастрономии и даже для высокого поселкового начальства закатывал такие обеды, что соседние князьки, вкусив, хотели его из паршивой нарпитовки к себе перетянуть в забегаловки рангом повыше...

## Столяров

Столяров жил аккуратно напротив Паши на той же улице, правда, только летом. Это была его дача. Улица отрезала кусок посёлка, примыкавший к лесу, и звалась Лесная, вдоль неё шёл высоченный трухлявый забор, отгораживавший дачный посёлок старых большевиков от мира.

Большевики все перемёрли, наследники передрались, разрезали гектарные участки на лоскуты, понастроили хибарок, понавтыкали в забор калиток и проклинали своих предков, забывших, что бытие определяет сознание: завещаний не оставили, надеялись на коммунистическую мораль потомков... но потомки народились, наплодились, и мораль за ними не поспела.

Михаил Иванович преподавал на кафедре и работал в каком-то сильно закрытом институте. На дачу приезжал на своей машине, и... у него было одно лишь желание... он страдал клаустрофобией... ему надоели вахтёры в глухой, как дот, проходной, тесная, забитая приборами лаборатория, душная многокомнатная квартира, казавшаяся складом мебели и ненужных вещей, забор этот проклятый на даче и сама дача – старая, тесная, с перегородженными комнатами, перестроенными входами, заросшая чёрт-те чем неистребимым и буйным. Он приезжал, натягивал сапоги и уходил в лес – жара не жара, дождь, ветер – всё равно: в лес под открытое небо, к костру на опушке до самых поздних звёзд с записной книжкой в целлофановом пакете, чтобы не размокла от дождя и росы, краюхой хлеба в боковом кармане и плоской фляжкой в нагрудном...

Жена, осторожная и нежная Нюся из интеллигентной профессорской семьи, очень ценила своего супруга, никогда не вмешивалась в его режим, работала переводчиком с испанского языка в большом издательстве, а при необходимости синхронистом на слётах и форумах. Когда муж вкатывал машину на дачный участок, быстро переодевался и направлялся к калитке на заднем дворе, единственное, что она произносила неизменно: «Мишенька, не хлопай калиткой, когда вернёшься, ты знаешь, как я чутко сплю!».

Михаил Иванович дорожил чуткостью супруги и никогда её не тревожил. И домашние не тревожили его, особенно когда он сидел совершенно отрешённо со своей записной книжкой на коленях и карандашом в руке. Что он там писал, всё равно понять было невозможно, во-первых, из-за отвратительного почерка, во-вторых, потому что птичьи закорючки в длинных строчках цифр и латинских букв, очевидно, вообще были доступны только их автору.

Дети Столяровых повзростали, внуки ещё не появились, и тесная семья из четырёх человек постепенно расплзлась и делилась, как всякая растущая клетка. Образовывались новые содружества: Петька связался с какой-то замужней женщиной старше его и с ребёнком, что, конечно, очень огорчало его интеллигентных родителей, но поскольку они были таковыми – молчали и горько вздыхали, уважая свободу выбора каждого. Дочь Валентина решила, что без неё театр погибнет, и надумала второй год подряд провалиться на всех предварительных просмотрах, а на возражения родителей говорила, что её любимого актёра Божьей милостью, Георгия Буркова, вообще семь лет не принимали в театральные нигде! И что? Разве он не доказал своё?!

Короче говоря, дача пустовала, а воскресенья были её счастливыми днями.

## Максим Степаныч

У старика была астма. Осенью он вывешивал лозунг крупными буквами на заборе: «НЕ ЖГИТЕ КОСТРЫ – ОНИ СЪЕДАЮТ КИСЛОРОД И ВРЕДЯТ ЗДОРОВЬЮ». Целая лекция на горячую тему... но мало кто прислушивался – куда девать листву, сухую траву и мусор после уборки участка? Некуда. Так чего ж?

Максим Степанович был из раскулаченных. Крепко стоял на ногах. Приехал невесть откуда. Купил в посёлке на перекрестье Лесной и Льва Толстого дом. Как говорят, сам спалил его, получил страховку и выстроил хоромы – куда там! Княжеский дворец. Освоить его он был не в состоянии, то есть жил с дочерью и зятем на первом этаже, а верхние террасы и комнаты использовал для хранения «даров природы» и сушки ягод, яблок и груш...

Торговал Максим Степанович возле местного магазина, стоявшего в ста метрах от дома. С двуколки, возимой им самим, продавал солёные огурчики, маринованные зелёные помидоры и всякую снедь с огорода по мере её поспевания «согласно сезону». От его товара так вкусно пахло, а закуска людям требуется всегда, особенно когда они выходят из магазина от Машки с торчащим из кармана горлышком бутылки в любое время, начиная с восьми утра до девяти вечера. Что с того, что «не положено». «Кем не положено, тому не брать!» – возражала Машка на замечания бдительных клиентов, а участковому делала знак указательным пальцем приблизиться к себе, наклонялась к нему и страшным шёпотом спокойно говорила: «Коля, а ить ты боле не получишь у меня ничего! Пошёл на...». Что не получит Коля, никто не знал – то ли бутылку в недозволенный час, а может, что иное, женское... неведомо.

Максим Степаныч верил в добро. Клиентам отпускал в долг и никогда не забывал и не путал спроса. Он только спокойно приплюсовывал и напоминал, например:

– Матрёна, я те прошлым четвергом три фунта огурцов выдал и нынче, значит, два... – он внимательно смотрел в лицо бабы и продолжал, подытоживая: – Итого пять. Так?

– Ишшобы! Три да два не складу, что ли! – возмущалась Матрёна.

А Степаныч спокойно и уважительно говорил:

– Пять! Здрате пожалуйста вам! – и выдавал Матрёне треугольный кулёк, свёрнутый из газетного листа...

Иногда он серчал, но, правда, ненадолго, например:

– Володька! – говорил он Харламову. – Ты вот, к примеру, знаешь, что Советская власть меня раскулачила?

– Ну, – возражал уже поддатый Володька.

– Что «ну»? Я, вишь, торгую опять! Поднялся! Наплевал на неё, как я только на себя надеюсь, а не на ету срань... А ты? Всё пьешь и закусываешь в долг! Это как?

– Нормально! – возражал Харламов. – С получки отдам, Степаныч, ты же знаешь!

– Да не о том речь! – сердился Максим Степаныч. – Тебе, дураку, бы денег накопить и дело завести, бабу подобрать, что ж ты бобылём-то! Чай, не мальчик уже! Надеешься до пенсии дотянуть и на неё прожить?

– Ну, – опять возражал покачивающийся Харламов.

– Хрен тебе! – уже почти кричал Степаныч. – На ету пенсию, мудачок, только опохмелиться можно, а пить-то не с чего будет – ноги протянуть!

– Шшшшш! – подносил палец к губам перепуганный такими дерзостями Харламов. Но деда уже было не остановить!

– Чё ты шипишь-то? Не боюсь я ихнего карцера! Раскулачат опять, а я снова встану! А они не могут! Ни хрена не могут! Просрали всё... эх, обидно... ить...

Харламов быстро трезвел от таких речей, испуганно хватал огурец, пучок укропа и галопом пускался по Лесной к опушке, где было всегдашнее место сбора у лежащей плашмя здо-

ровенной катушки от кабеля, на которой постоянно организовывали «круглый стол» местные любители выпивки на свежем воздухе.

## Круглый стол

Катушка от кабеля здесь, на опушке, лежала давно – даже опята облюбовали себе один её бок и каждую осень радовали сторожа детского сада – самого близкого к катушке человека. Одна её плоскость уже вросла в землю и была покрыта многолетним перегноем листвы, а вторая сделалась незаменимым столом для всех окружающих. Доски, из которых был сбит этот стол, от времени сильно посерели, выгнулись и стали неглубокими желобками, так что поставить бутылку можно было только посередине, на ржавую ступицу оси. Постеленные скатертью газеты надо было прижимать осколками кирпича, чтобы не загибали края или не улетали вовсе от любого ветерка, а уж после таких приготовлений на шрифты и портреты ложилась нехитрая еда, принесённая из дома, чаще всего свеженькая, с огорода, своего или попавшегося по пути.

Наверняка в мире были и есть более важные и известные круглые столы, но можно смело поручиться, что более откровенного, открытого и душевного отыскать не удастся, разве что в соседнем посёлке или деревне, где, возможно, и нет такой катушки от кабеля, но всегда найдётся полянка с пеньком на опушке, старый, сбитый для «козла» стол во дворе брошенного дома, заколоченный неведомо когда, или ржавый квадратный бок бака, непонятно зачем сваренного из толстого стального листа и притараненного наверняка трактором на тропе пьяным мастером, спутавшим адрес.

Неважно. Здесь было хорошо. Уютно. И тепло в любую погоду от разговоров и традиционного однотипного горячего.

– Вот ты человек учёный, профессор, и я тебе совершенно доверяю, поскольку у тебя горизонт шире и глубже... – Харламов замер с полуоткрытым ртом, будто ждал возражения, а на самом деле потеряв мысль. – Ну, ладно... давай... – он разрешающе махнул рукой и, не дожидаясь остальных, поднёс стакан к губам. Но тут неожиданно потерянная мысль вернулась: – А, вот! – он снова поставил стакан, осторожно, чтобы не опрокинулся на выгнутой доске. – Вот ты мне, дорогой товарищ, скажи, как можно человеку доверять? – и он торжественно и предостерегающе поднял вверх указательный палец. Все молчали.

– Ну? – прервал молчание Иван Иванович.

– Какому? – продолжил Паша. – Какому?

– Вообще! – отрезал Харламов.

– Вообще, вообще, – обиделся Иван Иванович, – а ты Ильичу напиши, спроси.

– Какому? – серьёзно поинтересовался Харламов.

– А всё равно – хоть тому, что в Мавзолее лежит, хоть тому, что его по праздникам топчет! Правды-то не скажут...

– Ну ты даёшь! – возмутился Паша. – Уже на мертвяков перешёл!

– А ты чё не отвечаешь, академик? – вдруг обозлился Харламов.

– Эй, Володь, знаешь чего? Давай без оскорблений! – обрзал его Иван Иванович.

– Оскорблений? – возмутился Харламов. – Я ж чего – его жидом назвал, что ли, я со всем уважением – товарищ академик...

– Пошёл ты! – Михал Иванович отвернулся и сплюнул. – А по сути: он прав! – повернулся он снова лицом к столу и взялся за стакан. – Страну нам доверять нельзя... Давайте, мои дорогие, выпьем! Это так замечательно, что мы снова вместе...

– Невидадь, – хихикнул Харламов, – поставь бутылку – и мы тут как тут! Правда?..

– Ты, Харламыч, мужик хороший, только очень занозистый, как доска вот эта нестроганная на катушке, – задумчиво произнёс Иван Иванович.

– И такой же серый... – хихикнул Паша.

– Ладно, ладно, грамотные, – беззлобно откликнулся Харламов.

– А выпить – это святое, затем и собрались, чтобы отвести душу! – продолжил прерванную фразу Иван Иванович.

Все выпили и замолчали, прислушиваясь, как тепло медленно спускается вниз к животу, а потом разливается по всему организму...

– А вообще-то Харламов прав, – сказал профессор и поджал губы, будто для того, чтобы больше ничего не произнести и не проговориться... – Прав... вот вы не обижайтесь, но приведу конкретные примеры. Начну с себя. Сказал в институте, что уехал на семинар, а сам? Но ведь невозможно – так жизнь устроили, что подумать некогда, мыслишка одна мелькнула, а тут так хорошо... и что – вру...

– Ну и прально! – одобрил Харламов. – А то такого государственного человека не берегут и думать ему никак не дают...

– Да ладно тебе, Харламыч... Теперь Паша – ему разве столовку доверять можно? А без этого он не проживёт... что он на семьдесят рублей зарплаты сделает?

– Зарплаты! – захохотал Харламов. – Да это подачка... а там бабка есть одна... так я прикармливаю её, а то помрёт навовсе! Точно!..

– Почему? – напрягся Иван Иванович.

– А у ей пенсия знаешь сколько?.. Не догадаешься! Не тужься! 17 рублей тридцать две копейки!..

– Так не бывает! – уверенно возразил профессор.

– Ага... не бывает... а я сам ведомость видел... точно... а она одна... всех – кого в войну поубивало, а кто после умер – никого на свете... Жуть какая-то, – огорчился Харламов... – а мы, вишь, бутылок не считаем... нет, я б, конечно, такой закон издал...

– Ой, – смущённо возразил Паша, – сам же мне сказал, что весь день халтурил вчера и баллон ацетилена спалил...

– А я что? Я совершенно согласен! У нас вся жизнь так устроена, что верить никому нельзя! Никому! Этот орденами бренчит так, что вся Россия спать не может...

– Ну... Вот каемся, каемся! – Иван Иванович вдруг выпрямился, убрав локти со стола. – А как война – соберёмся и вдарим!

– Во-во! Как ты был прапор, так и помрешь им! Мало мы навоевались? И где твои братья лежат? Сам не знаешь... им и креста поставить некому... а фашист всех своих сосчитал, небось, даже тех, что тут, в Сибири, загнулись... Аника...

– Так мы далеко уйдём, – возразил Михал Иванович.

– Далек, если не остановят... – будто подумал Паша.

– Надо работать... терпеть и работать... – возразил бывший старшина.

– Вот. Я тебя и спросил про горизонт... это я не зря, как думаешь?

– Думаю, – согласился профессор. – Да толку мало...

– Значит, не о том думаешь, – как бы только для самого себя произнёс Паша, и все замолчали. – Может, там видать чего, а то так всё опостылело, что... и водка не берёт...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.